

Людмила БРАГИНА

## О СЧАСТЬЕ

*Спроси у человека, что такое счастье,  
и ты узнаешь, чего ему больше всего не хватает*

Начало учебного года я встретила в лор-отделении городской больницы. Я почти не спала из-за отита — по ночам болели уши. Каждое утро начиналось для меня тоскливее, чем если бы мне надо было идти в школу.

В шесть включался свет, и в палату входила хмурая заспанная медсестра с градусниками в стакане. Потом в коридоре, пропитанном неистребимыми запахами хлорки и антибиотиков, у медицинского поста следовала раздача пузырьков с таблетками. Затем — унылая очередь в выстуженную ночным проветриванием и выжженную кварцеванием процедурку. После уколов и других медицинских экзекуций я снова ложилась в кровать, забираясь с головой под одеяло. Зажмурившись и стиснув зубы, я ждала, когда пройдёт ещё неделя — вторая половина обещанного лечащим врачом срока до выписки.

Как только я согревалась и расслаблялась, сердце начинало биться спокойнее. На меня накатывала дрема. Веки тяжелели и глаза закрывались сами собой. И тут, громыхая железной тележкой, на которой стояли большие эмалированные вёдра с дребезжащими на них крышками, в коридоре появлялась пожилая санитарка. Зычным голосом она созывала обитателей отделения на приём пресной и убогой больничной пищи: «Уши-уши, идите кушать!»

Двух моих соседок по палате звали тётя Маша и тётя Клава. Им обоим было под шестьдесят, и судьбы их оказались во многом схожими: полуголодное детство в колхозе, чужие углы в городе, у обеих были мужья-алкоголики, только одна развелась, а у второй — умер. Их разговоры начинались и заканчивались подробным описанием всевозможных хворей, а в промежутках они вспоминали свою жизнь, полную тягот, невзгод и обид, выпавших на их долю.

У впечатлительного 13-летнего подростка, каким я тогда была, эти две горемыки отбирали всякие силы не только выздоравливать, но и жить вообще. Как два страшных призрака будущего, они своим примером олицетворяли безжалостность и неумолимость судьбы, ведущей через долгие страдания к трагической развязке.

Я доставала из тумбочки любимую книжку и пыталась погрузиться в неё, чтобы не дать засосать себя серому и тягучему инобытию. Но стоило мне начать читать, как буквы расплывались, и боль, как раскалённым обручем, сдавливала голову.

Поглядев пару раз на мои отчаянные попытки, сердобольная тётя Клава не выдержала:

— Брось-ка ты все эти книжки, детка. Нам сейчас голову напрягать нельзя. Побереги себя, ты ж такая молоденькая, ещё жизни не видела, а уже больная вся. Садись сюда, — она провела ладонью по запроваженной кровати рядом с собой, — мы лучше с тобой вот что посмотрим.

Она выдвинула верхний ящик обшарпанной тумбочки, стоящей возле кровати, и достала пакет, в котором находилось что-то прямоугольное и увесистое, похожее на кирпич. Это оказался старый бордовый плюшевый фотоальбом с затёртыми углами.

Я обречённо присела на краешек её кровати.

— Детских фоток у меня нет, растерялись, да и немного их было, зато вот! Смотри, свадебные. Мы в 61-м поженились, когда Гагарин в космос полетел. Мой это событие неделю с друзьями праздновал, потом ко мне пришёл глаза в кучку, уши враслопырку и говорит: «Я хоть не космонавт, но тоже Юрка, выходи за меня!» А я на радостях и выскочила.

— По любви? — наивно, но почему-то с надеждой спрашиваю я.

— По дурости! — жёстко приземляет тётя Клава.

На мутной чёрно-белой фотокарточке был запечатлен стол, плотно заставленный бутылками и тарелками с едой, мужчины в тёмных мешковатых костюмах и узких галстуках, женщины в цветастых платьях и высоких шиньонах, и на заднем плане, на стене ковер с оленями. Рядом с улыбающейся невестой, у которой завитые волосы торчат из-под коротенькой пышной фаты, сидит пожилая измождённая женщина в скромном платочке, напоминающая тётю Клаву. По другую сторону — захмелевший жених в белой нейлоновой рубашке с мокрыми тёмными пятнами подмышками. В одной руке сигарета и рюмка в другой.

Тётя Клава водит по фото кривым от артрита пальцем, показывает на женщину в платке: «Это моя мамка. Здесь ей сорок лет». Я недоуменно поднимаю брови, и тётя Клава поясняет: «Она с двадцатого года, всё застала: и голод, и войну, да оно и после добра не

было...» — и безрадостно машет рукой.

Тут в разговор вступает подсевшая к нам тётя Маша:

— А ты думаешь, какая она, жисть, в колхозе? Не жисть, а каторга, в трудах да нищете, вот так и изработалась-то к сорока годочкам...

Пока я своим пионерским прямолинейным умишком пытаюсь соединить высокое и почётное понятие «труд» с нелогичным для него следствием — «нищета», тётя Клава перелистывает страницы и продолжает что-то говорить.

Альбомные фотографии расположены в хронологическом порядке, и вот уже начинают появляться цветные снимки. Так и не найдя объяснений своим мировоззренческим нестыковкам, я возвращаюсь к просмотру.

На сером картонном развороте в фигурные прорези вставлены три фотографии, и взглядевшись, я чувствую, что внутри у меня всё сжимается и холодеет.

У открытого гроба, стоящего возле подъезда на двух табуретках, сидит плачущая тётя Клава в чёрном платке, внизу прислонены венки с траурными лентами. Возле усопшего полукругом собралась небольшая группа людей с печальными и сосредоточенными лицами, а чуть поодаль стоят музыканты с духовыми инструментами и большим барабаном.

На второй, как будто фотограф сделал несколько шагов вперёд и перешагнул невидимую границу, крупным планом восковое лицо покойника с бумажным венчиком на лбу. По углам гроба, в изголовье стоят зажженные свечи, воткнутые в куски хлеба. На белом кружевном покрывале алым веером брошены гвоздики, и на их фоне мертвец выглядит особенно одиноким и страшным.

Я пытаюсь отвернуться, но взгляд, как примагниченный, переползает на третью фотографию. На ней уже поминки, люди в тёмных одеждах сидят за столом в свободных позах, разливают по стаканам и стопкам водку, разговаривают и у некоторых даже на лицах весёлые улыбки.

Я не знаю, что больше меня шокировало: то, что свадебная тема так резко сменилась на похоронную, или сам непонятный ритуал фотографирования смерти, да ещё так близко и подробно, или быстрота смены настроения людей, которые изображали скорбь.

— Тётя Клава, а зачем вы похороны фотографировали?!

— Да раньше как-то принято так было, на память, — не очень уверенно отвечает она, — даже у нас в деревне фотографа нанимали те, кто побогаче жили.

— Так ведь помнить человека надо живым, а не мертвым...

— А живым он мне всю душу вынул своими запоями да дебошами. Глазищи с утра водкой залёт и начинает куролесить. Последние годы его трезвым и не видела.

— Я своему за то ж пенделя под зад и дала! — подхватывает тётя Маша. — Жаль того, что полжизни мне испоганил, всё об ём помирала, надеялась, что заживём, как люди... Бабкам да выгрезвителям все деньги повытаскала. Всю жисть в одном платышке ситцевом штопанном проходила. Не приведи тебе бог нашего горя мыкать, ягодка моя, — жалостливо заканчивает она и заглядывает мне в лицо. — Твой-то папка не пьёт?

— Не знаю. Когда я родилась, мама с ним разошлась.

Тут она заплотило всплескивает руками и начинает причитать:

— Кла-ава! Да что ж ты его вместе с живыми-то повставляла? — разве не знаешь, что их нельзя смешивать?! Люди старые рассказывали, что не упокоится мертвецкая душа, пока не заберёт с собой...

— Я ему заберу! Может, хоть в космосе своём проспится.

— А что с этими фото делать надо, тётя Маш?

— В чёрный конверт и отдельно покласть, в дальний ящик или коробку с обуви. И выкидать нельзя...

Интересно, как только мужа отнесли и зарыли на кладбище, тётя Клава могла говорить, есть, пить, улыбаться? Или только тогда и смогла? Я смотрю в её выцветшие глаза, и мне хочется прямо в халатике выскочить на улицу и бежать без оглядки, сколько хватит сил от неё, от их долгих вечерних «задушевных» разговоров, от этого места, где всё пропитано стонами, вздохами, ночными вскриками.

Столетнее краснокирпичное здание городской больницы стало ветшать и разрушаться не только от времени, но и от человеческого горя и страданий. Если о храмах принято говорить, намоленное место, то о нем точнее было бы сказать: наболенное — наболевшее. А вот внутренний дворик здесь удивительно хороший — уютный и ухоженный. В нём много ещё по-летнему ярких цветов. На аллеях, под берёзами и клёнами, расставлены старые лавочки с плавными изогнутыми линиями. Но даже выйти погулять в больничный двор я не могла из-за дождливой и ветреной погоды, которая стояла уже неделю.

Чуть наискосок, через дорогу от больницы располагался огромный машиностроительный завод. Наверное, не было в городе такой семьи, которая не имела бы к нему отношения. И моя мама тоже работала на этом заводе. Однажды она решила взять меня туда на экскурсию. Прошли мы через проломленную дыру в бетонном заборе. Про неё знали все: и охрана, и работники, которые пользовались этим кружным путём, в обход проходной, когда по утрам или с перерыва опаздывали на работу или когда требовалось

беспрепятственно пронести спиртное.

Прошло много лет, но я до сих пор с содроганием вспоминаю задымлённый и грохочущий цех, с едва различимыми в полутьме станками устрашающих размеров, между которыми сновали силуэты в спецовках. Мне показалось, что я попала в ад. Мы стояли посреди этого надвигающегося лязгающего ужаса, и я, четырёхлетняя девочка, дрожала, как осиновый лист. Изо всех сил сжимая тёплую мамину руку, я собиралась сказать, что защищу её от всех чудовищ на свете. Но мама опередила меня.

— Это цех, где я работаю, — гордо сказала она. — На этих станках вытачивают из металла всякие детали, — мама показала на кучу радужной металлической стружки на бетонном полу, — видишь, вот как мы с тобой картошку чистим, так и он из железной болванки срезает лишнее, и появляется что-то нужное. А посмотри вверх — это мой кран! Помнишь, я тебе стишок читала: «Краном висящим тяжести тащим / Молот паровой гнет и рельсы травой». Вот вырастешь большая, придёшь и тоже будешь здесь работать.

Я с болью и недоумением смотрела на неё и про себя твердила: «Никогда! Никогда я не приду на этот кошмарный завод, и если бы я только могла, никогда-никогда не отпустила бы тебя больше сюда. Чтоб он развалился на куски!» И видимо, настолько это детское желание было жгучим, искренним и всеобъемлющим, что спустя годы он действительно развалился, вместе со страной, строем и укладом жизни...

В полдень, как только раздавался протяжно-ревущий заводской гудок, я хватала тёплую кофту, на ходу засовывая руки в рукава и застёгивая пуговицы, сбегала по старой лестнице на первый этаж в вестибюль. Становилась у окна и начинала представлять, что происходит сейчас через дорогу...

Переодевшись, мама выходила из цеха и спешила в заводскую столовую. Полный комплексный обед она не брала, а наспех съедала только первое или второе. Потом забегала в кулинарию, где покупала мне диетическую лепёшку, язычок из слоеного теста, пирожок с повидлом и торопилась ко мне в больницу. А через 15 минут ей снова нужно было возвращаться на завод.

Я начинала ждать её, как только утром открывала глаза, и каждый раз просила не приносить мне ничего, чтобы она не расплачивалась в кулинарии драгоценным временем наших коротких свиданий. Я вдохновенно врала, что нас кормят очень вкусно и питательно, но мама не могла себе позволить прийти в больницу с пустыми руками.

После быстрого обмена вопросами и ответами в больничном холле я возвращалась в палату. На душе у меня теплело, и в тихий час я лежала с закрытыми глазами, прогреваясь ощущением ещё звучащего во мне маминого голоса и невесомых прикосновений её рук.

Я думала о том, что так было всегда, начиная с момента, как я себя помню. Мама уходила на работу в шесть утра, и я страшно боялась пропустить этот момент. Вскликала спозаранок, чтобы увидеть тонкую полосочку света из-под двери на кухню, услышать тихий звук закипающего чайника и просто посидеть за столом рядом, пока она выпьет чашку чая и съест завтрак. Потом, чтобы не мешать ей собираться, я садилась на стул, стоящий в углу, из которого просматривались все пути из комнаты на кухню и в коридор. И когда мама расчёсывалась и одевалась перед трюмо с тремя зеркалами, оно называлось трельяж, я счастливо смотрела на неё и её отражения, и это было для меня как вознаграждение за предстоящую разлуку на целый день.

Вечером снова всё повторялось, только наоборот. Она приходила поздно, а я ждала. Несколько раз за вечер бегала в ванную и умывалась там холодной водой, чтобы не хотелось спать.

После четырёх смена заканчивалась, мама выходила на остановку, которая назвалась так же, как и завод, ждала автобуса и ехала на вторую работу. Мама выбивалась из сил, чтобы выплатить кредит за кооперативную квартиру, куда она переехала вместе со мной после развода.

Поздно вечером, когда мама освобождалась, больница была уже закрыта для посетителей. Поэтому я начинала готовиться ко сну сразу после ужина. Тщательно чистила зубы, расчёсывалась, медленно и плавно проводя по волосам щёткой усыпляющими равномерными движениями. А чтобы не слышать бесконечных нудных разговоров своих соседок, отворачивалась к стенке и, заткнув уши ладонями, пела про себя колыбельные песни, пока не засыпала.

Откуда ни возьмись в приятное полузабытьё врывается громкий разухабистый мотив:

*Бывали дни веселые —  
Гулял я, молодец.*

Я подскакиваю на кровати, не разобрав, где я, всё ещё надеясь, что это сон, но мои соседки тоже сидят на кроватях с выпученными глазами. И прямо у нас под дверью пьяный голос, дико фальшивя, выводит:

*Не знал тоски-кручинушки,  
Как вольный удалец.*

— Мужики, што ли, напились и песни орут? Куда врачи смотрят, держат тут всякую алкашню... — возмущённо вопрошает тётя Маша, и чтобы удостовериться, набрасывает на ночнушку халат, выглядывает в коридор и отшатывается назад.

Дверь в ординаторскую нараспашку. Из всех палат выглядывают непонимающие, удивлённые, перепуганные лица. По коридору, шатаясь и шаря руками по стенам, бредут вдрызг пьяные все три доктора и старшая медсестра с букетом цветов. Солирует наш, остальные одобрительно смеются и подтягивают в разных местах...

На лестнице раздаётся характерный звук падающего тела и бьющегося стекла. И вслед за этим резкая спиртовая волна, как цунами, заполняет «ароматом» всё отделение. По мужским палатам дружно прокатывается протяжный и горестный стон. Из разбитой трёхлитровки по ступенькам захватывающими дух каскадами стекает медицинский спирт. «Ах ты ж, етить твою разъетить, опять порядок наводить!» — качая головой, вполголоса бормочет санитарка.

Я проснулась такой уставшей после этого дикого ночного происшествия, что еле волочила ноги. Перетерпев все назначенные обязательные процедуры, подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. С того дня, как я попала сюда, впервые после полосы проливных дождей, выдался светлый сентябрьский день. Я смотрела на мокрые растрепанные дождями и ветрами головки астр и георгин, мечи гладиолусов, полёгшие на клумбах в неравном бою с наступающей осенью, и не могла ни на чём сосредоточиться, всё расплывалось и ускользало.

Соседки пошли «погулять» по коридору, разузнать и обсудить последние новости, а я присела возле окна и решила накрасить ногти... И вдруг длинный солнечный луч пробился сквозь пелену белых облаков и упал мне на руку. Алый лак ярко вспыхнул, зарделся волшебным диковинным цветком, и всё внутри меня внезапно как будто просияло, проснулось и ожило, наполнилось силами и потребовало движения. Я на секунду прислушалась к себе и безошибочно поняла, что именно хочу сделать немедленно.

Я оделась и выскочила на улицу. Нырнув в подземный переход и вынырнув из него на другой стороне дороги, я вошла в тенистый скверик и остановилась под раскидистой кроной старого каштана сбоку от проходной. Аллея с чугунным памятником вождю пролетариата, ведущая к остановке, была пуста, на клумбе ещё пламенела сальвия, свежий воздух бодрил тело и очищал мысли.

Наконец громкий длинный гудок возвестил перерыв на обед. И сразу как будто открылись шлюзы. Людская толпа, как вода под напором, хлынула вперёд, дробясь и разлетаясь на свободные частицы. В потоке лица сливались, и я пожалела, что стала слишком близко у проходной. Боялась, что пропущу и не увижу то единственное и родное, на которое столько лет не могу насмотреться.

Я напряжённо вглядывалась в это людское скопище, и вдруг перед выходом мелькнуло яркое голубое пятнышко. Моё сердце радостно подпрыгнуло в груди, и я беззвучно закричала — мама! Сегодня она надела моё любимое голубое в тонкую белую клеточку платье, которое я уговорила её купить во втором классе.

С той самой памятной экскурсии я редко что просила купить для себя, потому что понимала, чем оплачиваются покупки, а если мне требовалось что-то действительно необходимое, оно появлялось и без напоминаний... Но когда я увидела это платье, сначала на своей первой и любимой учительнице, а потом в магазине, в который пришли вдвоём с мамой, я бесповоротно решила, что без него мы отсюда не уйдём.

Я вцепилась в неё, как клещ, и умоляла «только померить и всё». Мама смутилась и, не разгадав моей военной хитрости, согласилась. Платье так ладно село на её стройную хрупкую фигурку, так было ей к лицу, делая его моложе, глаза ярче, улыбку светлее! И это ещё больше укрепило меня, и я сделала следующий шаг.

«Тут такой свет плохой, давай выйдем в зал к большому зеркалу...» И здесь, не почуяв подвоха, она доверчиво вышла из примерочной. Я обняла её возле зеркала и громко, со слезами в голосе завела волюнку на весь магазин: «Мамочка, купи его! Пожалуйста!! Я тебя очень прошу!!!» Какая-то женщина неодобрительно посмотрела на меня и сделала замечание: «Такая взрослая девочка и такая несдержанная, капризная, выпрашивает себе платье! Нельзя быть такой эгоисткой!» Я про себя обрадовалась и ещё жалобнее продолжала, совсем вогнав маму в краску.

Бедная моя мама! Но мне всё равно не стыдно за этот поступок. Это платье не один год согревает, украшает её, а сегодня ещё подало мне особый знак...

Пока я вспоминала историю его появления, мама уже поравнялась со мной, и я совсем близко видела её нежный висок, слегка тронутую загаром щёку, худенькую шею и узкие плечи. Она стремительно шла вперед, и по её светлому лицу было понятно, что она сейчас не здесь, а уже подходит к больнице...

А я всё стояла, смотрела и не могла ни сдвинуться с места, ни окликнуть её. У меня перехватило дыхание, из глаз текли слёзы, и я быстро-быстро моргала, чтобы они не заслоняли лучшую в мире картину, которая навсегда запечатлелась в моём сердце.